

**«Зовите меня просто Сеня!»
(О Самуиле Моисеевиче Шварцбанде)**

Он мыслил масштабными конструкциями, заставляя даже скептиков поверить в воздушные замки, – будь то затеваемые им конференции, новые научные ассоциации, сборники коллективных трудов или теоретические построения – все в его описаниях неизбежно принимало раблезианский размах («Мы поставим Иерусалим на карту славистских кафедр мира!») – приговаривал он накануне одного из международных конгрессов). Шварцбанд был человеком будущего, поэтому писать о нем в прошедшем времени вдвойне невыносимо.

Важно очертить перспективу данной мемуарной заметки – то, что последует – взгляд снизу вверх, ученика на учителя. Я не буду говорить о достоинствах Шварцбанд-пушкиниста, они очевидны, и об этом, уверен, квалифицированно напишут другие. Мне хотелось бы всего лишь запечатлеть в памяти его образ как педагога, такой живой и подвижный для меня. Если кому-то интонация моя покажется недостаточно строгой для жанра некролога, то в свое оправдание я могу лишь сказать, что С.М. чрезвычайно ценил добрый юмор.

Знал я его недолго, но в значительный лично для меня отрезок времени – мы довольно тесно общались на кампусе между 1993 и 2001 годами – и он был для меня одним из тех двух или трех университетских менторов, каждое слово которых я старался поймать и усвоить. Это было время «Большой Алии», и на гору Скопус в Иерусалиме я попал свежим репатриантом прямо из пермской школы. В отличие от прагматичных решений большинства товарищей по годовому подготовительному курсу мой карьерный выбор к концу второго семестра казался безнадежно недальновидным: в качестве будущей профессии я избрал не перспективные экономику или юриспруденцию, а русскую филологию. «Виной» тому, не в последнюю очередь, был С.М. и его блистательные лекции о Пушкине. Перед тремя десятками русскоязычных молодых людей стоял человек невысокого роста, в рубашке с короткими рукавами и галстуком, – всегда перед партией, а не за ней. За окном лекционной комнаты раздавалось протяжное пение муэдзина, на которое С.М. не обращал ни малейшего внимания, продолжая страстно декламировать Александра Сергеевича – и для моего внутреннего слуха это странное сочетание двух мелодических линий на много лет вперед определило наиболее естественную форму бытования пушкинского стиха. Как вскоре выяснилось, С.М. был изумительно артистичным и артикулированным лектором, выстраивал свои академические моноспектакли по одному ему ведомой тайной драматургии и вообще любил «произвести впечатление».

Начинающих студентов он шокировал низвержением общепризнанных авторитетов и установившихся школ. Как-то про живого еще в ту пору академика Д. С. Лихачева сказал: «А я его в упор не вижу»; в другой раз брезгливо приподнял в руке переводную книжку Жака Деррида: «Как там этот его – интертек-сексуализм?..»; в связи с «Мастером и Маргаритой» повторял, что «Булгаков ни Талмуда, ни кабалы не читал и читать не мог, как доказывают эти булгаковеды. Они никак не хотят признать, что все его знания

основывались на паре-тройке популярных брошюрок легкого изложения! Остальное – удачная дозировка фантазий и стиля». Высказывания эти не компрометируют его как ученого, но точно характеризуют как педагога, которому важно было привить ученикам независимость мышления.

Лицом С.М. походил на принца Чарльза Уэльского, его глаза всегда лучились светом. Когда затягивался тонкой сигаретой, пуская дым из ноздрей, с хитрецей щурился. Из каждого уха у него торчало по пучку седых волос; временами он надевал очки в золотой оправе. Зато какую благородную осанку принимала его фигура, когда он расхаживал по кафедре, заложив левую руку за спину... Выправка сохранилась у него от занятий легкой атлетикой: если не ошибаюсь, в молодости он был чуть ли не мастером спорта по этому виду.



С. М. Шварцбанд, Аркан Карив, Ю. Левинг на конференции «Иерусалим в славянских культурах и религиях», гостиница Тират Бат-Шева, декабрь 1996.

Иногда на лекциях заходился приступом безжалостного кашля, краснел и отмахивался от нас руками, – жест, который означал: «все в порядке, не подходите, сейчас пройдет». И действительно, спустя несколько минут он продолжал как ни в чем не бывало вещать, только придерживаясь за сердце, как будто там, под синим пиджаком с золотыми, словно у капитана первого ранга, пуговками на обшлагах оно, такое большое и доброе, разрывалось от аритмии.

– Зовите меня просто Сеня!, – говорил он студентам и, хотя в глаза его так никто называть не осмеливался, для многих из нас он и был исключительно Сеней. «Если вы считаете, что я не прав, так и скажите: "Сеня, ты не прав!"». И мы улыбались от удовольствия, произнося его имя так.

Один раз С.М. пришел в класс с загипсованной рукой, которая висела у него на подвязке. Сеня беззаботно пояснил: «Играл с внуком в машинки, он меня поборо, я неудачно упал – и вот...». Внуками он, по-видимому, занимался до самозабвения. Бывало,

когда я звонил ему, в трубке сначала раздавались звуки каких-то лазерных бластеров, слышались виртуальные сирены и грохот, а затем мягкий голос Шварцбанда говорил: «Извиняюсь, я сейчас только перейду в другую комнату, а то мы тут с внуком компьютерной игрой увлеклись».

Игровое начало в науке и педагогическом подходе к лекциям значили для него очень много. Как-то он принес в класс ворох бумаг, оказавшийся рукописью его монографии о Максимилиане Волошине, тогда еще не изданной, которую он написал в соавторстве с Захаром Давыдовым¹. С.М. заявил: «А сейчас я покажу вам мою кибернетическую модель книги "Демоны глухонемые"», – и торжественно вывалил перед остолбеневшими слушателями кипу каких-то схем, формул и потрясающих геометрических фигур. Я до сих пор не очень понимаю значение фразы «кибернетическая модель книги», но сама по себе это – чрезвычайно мощная формула, чья сила не померкла для меня с годами занятий филологией.

На лекции, посвященной поэме Блока «Двенадцать», С.М. рисовал на доске подробную топографию поэмы, пошагово восстанавливая хронотоп блоковского сюжета – в какую сторону шли красноармейцы, где выл пес, вычислял расположение перекрестка, основываясь на том, где в российских городах до революции обычно стоял полицейский, и с какой точки в пространстве можно было видеть плакат «Вся власть Учредительному собранию!»... В характерной для него энергичной манере С.М. чертил на доске пересекающиеся стрелки улиц, размечал кружки солдат, ставил крестик для обозначения пса...

Для лекций он использовал материалы научных публикаций – как собственных (в случае с Блоком), так и авторства коллег. Помню даже легкое разочарование, когда я случайно наткнулся в библиотеке на работу в одном из даугавпилских филологических сборников, посвященную лирическому сюжету стихотворения Лермонтова «Парус». В ней излагалась концепция, почти слово в слово ранее озвученная Шварцбандом, – и мне пришлось смириться с мыслью, что устный анализ не являлся результатом его личного литературоведческого исследования, чего сам С.М., разумеется, никогда не подразумевал. Создавалось впечатление, что он находится в постоянном диалоге с далекими и полумифическими для нас, но близкими для него «ЮрМихом» и «БорФедом» (последнему, по поручению учителя, несколько лет спустя в Пушкинском Доме мне довелось передавать научный сборник под редакцией С.М., – сам Шварцбанд в Россию принципиально не приезжал, несмотря на приглашения коллег и очевидные профессиональные и архивные интересы там). Сеня имел обыкновение походя цитировать и ссылаться на ученых авторитетов по имени-отчеству – «как утверждает Сергей Михайлович» (то есть Бонди) или, «по мнению Бориса Викторовича» (то есть Томашевского), – они населяли его истории, и он двигал ими, как теми самыми красноармейцами на грифельной доске. Это была целенаправленная кампания Шварцбанда по атаке на юные умы. Чувствовалось, что среди полководцев – великих литературоведов прошлого – он был своим, а вокруг еще выстраивалась армия менее значительных фигур: персонажи пушкинских стихов, пушкинские возлюбленные, издатели, друзья и враги поэта... Со всеми С.М. был «на дружеской ноге», что, впрочем, ни в коем случае не выглядело натяжкой – просто у него был редкий дар погружать слушателя в магический мир, которым сам дышал и по

¹ Давыдов, З. Д., Шварцбанд С. М. «И голос мой – набат»: О книге М. А. Волошина «Демоны глухонемые» / Università degli studi di Pisa; No. 7. Pisa: ECIG, 1997.

которому уверенно перемещался, и его легкость и веселье передавались нам, сидящим в классной комнате с видом на буйную южную растительность в горах Иерусалима.

Эффектная манера преподавания С.М. заслуживает отдельного разговора. «Я когда-нибудь принесу вам свои записи – конспекты лекций, и вы увидите, как я готовлюсь» – пообещал он, – правда, этого не случилось, и остается догадываться, в какой мере эта ремарка была частью образа, который он в определенной мере сознательно выстраивал в глазах воспитанников. Помнится, он рассказывал о сотнях страниц научных рукописей, которые, по его словам, беспощадно сокращал до тех пор, пока не доходил до самой квинтэссенции (это было сказано в связи с его изящными пушкиноведческими монографиями, изданными в Иерусалиме в 1988 и 1993 годах).

«Лектор – это артист», – говаривал С.М. Он любил импровизации, а импровизации любила его аудитория. Через несколько лет после нашего знакомства, когда мне довелось прослушать несколько его академических курсов, я убедился, что так называемые импровизации были, в действительности, результатом тщательной подготовки. Позже в одной из бесед он это подтвердил. Иногда по ходу лекции С.М. принимался листать томик стихов, как будто ища в качестве иллюстрации или в подтверждение только что высказанному тезису какой-нибудь текст, вдруг останавливался на случайной странице (без закладки) со словами «ну, хотя бы возьмем вот это», и начинал длившийся на протяжении получаса блестящий его разбор. Раскрыв рты, студенты следили за полетом мысли увлеченного лектора.

Обладая феноменальной памятью, аналитическим умом математика (отсюда «кибернетика» в его гуманитарных штудиях) и артистизмом публичного спикера, отточенным в лекториях общества «Знание», С.М. с непринужденностью интеллектуального акробата выстраивал на уроке сложные логические конструкции, а потом с такой же легкостью рушил их, как будто мановением палочки, или, точнее, мелка. О мелке: как я уже упомянул, С.М. любил подкреплять свои выкладки рисунками. Бывало, он за лекцию два-три раза полностью изрисовывал грифельную доску многочисленными схемами, стирал, зачеркивал, опять поверх ловко наносил что-то новое (по опыту зная, что он любит приходить в класс, где доска оставлена чистой, перед началом лекции мы старались подготовить ее надлежащим образом). Меня поражало, как он держал в уме всю схему целиком, но выкладывал ее поэтапно, периодически поворачиваясь к доске на скрипящих каблучках (кажется, он носил обувь с набойками). Каждый новый фрагмент схемы сопровождался пятиминутным введением и, таким образом, вся совокупность элементов вырисовывалась постепенно, как если бы аспидная доска была пеплом, а белая сетка с изображением взаимодействия поэтических элементов в литературном произведении – подобием Феникса, восстающего из этого пепла. Я отдаю себе отчет в том, что свидетели докладов С.М. на конференциях могли видеть его в более сдержанном амплуа, но разница (если она существовала), объясняется тем, что благодарная аудитория вообще часто поощряет преподавательскую свободу и располагает к дополнительной экспрессивности.

У С.М. я слушал курсы, посвященные анализу поэтического текста, стилистике и текстологии, истории русских альманахов. Но самым популярным среди студентов, на который записывались даже те, кто формально не являлись слушателями славянского отделения, был, бесспорно, его знаменитый курс о Пушкине. Мне сложно сказать, заложено ли противоречие в утверждении С.М., что «те, кто пишут биографию великого писателя, в конце концов, пишут только о себе. А меня их биографии нисколько не

интересуют. Меня интересует писатель, не выдуманный этим биографом, а настоящий. Все необходимое можно вытянуть из его произведений, хотя и это – труд не всегда объективный, ибо интерпретационный, но максимально достоверный» (цитирую по своей записи), потому что сам Шварцбанд в пушкинских лекциях создавал именно гибридный нарратив, анализируя поэтические тексты и одновременно вышивая по канве биографии их автора.

На аспирантских занятиях нас было мало, но читал С.М. свои лекции так, как если бы перед ним сидели не трое или четверо, а три десятка человек, – демонстрируя высший филологический пилотаж, без компромиссов и скидок на малочисленность слушателей. Вместо классной комнаты мы часто собирались в его кабинете, доверху заставленном томами «Jews and Slavs», серии, редактором которой он выступал вместе с профессором Вольфом Московичем. Там он и преподавал для аудитории, состоявшей, кроме автора этих строк, из моего приятеля Миши Д., впоследствии ставшего известным в Израиле телеведущим, и ивритоязычной пенсионерки Ниры (которую между собой мы называли «Роберт де Нира»). После того, как врач категорически запретил ему курить, С.М. перешел исключительно на дамские – тоненькие, с белым фильтром, сигареты *Vogue*. Увлечшись предметом, он частенько поджигал их со стороны белоснежной ватки, засунув в рот табачным концом, и когда мы сконфуженно указывали ему, что, мол, Самуил Моисеич, сигаретка горит не той стороной, он, продолжая лекцию и не обращая никакого внимания, беспечно мял непечатую никотиновую палочку в пепельнице, второй рукой доставая из красивой пачки новую. У нас с Мишей болела голова, особенно, когда к С.М. присоединялась и начинала дымить Нира, которую мы тихонько с разных сторон подталкивали локтями; впрочем, Шварцбанду мы всегда клялись, что не возражаем (прежде чем зажечь сигарету, он риторическим вопросом спрашивал у нас разрешения), ибо невозможно было не позволить ему, мило пыхтевшему, жмурившемуся от едкого дыма, с томиком «Героя нашего времени» в округлой кисти.

Врачи в очередной раз строжайшим образом запретили С.М. курение, и за выполнением предписания дома, очевидно, следила его жена Роза. В его офисе мы помогали клеить адреса на конверты для приглашенных на конференцию иностранцев (дело было перед Вторым всемирным конгрессом славистов «Иерусалим в славянских культурах и религиях»), и только что переживший гипертонический криз С.М. стал умолять одного из студентов угостить его сигаретой. Мы не решались пойти ему навстречу в этой просьбе, но он пообещал, что отломит половинку – и, не выдержав, студент Теодор поделился. Шварцбанд жадно затянулся, лицо его просияло от удовольствия.

Один раз ему стало плохо перед самым началом лекции, и он робко предложил ее отменить: «Вы меня не убьете, если я перенесу урок?». «Если мы вас убьем, то кто же нам еще будет преподавать?» – отделавшись шуткой, мы остались встревожены состоянием здоровья С.М. Однако, когда С.М. пребывал в форме, он улыбался, фонтанировал планами, в суждениях отличался приятным эпатажем и безапелляционностью оценок.

На иврите он говорил с трудом, что в быту его мало смущало; как-то в кафе на кампусе он попросил подать «агванья» (помидор) вместо «аватиах» (арбуз), чем поверг в краску молоденькую симпатичную официантку, не ожидавшую от этого ладного человека профессорской наружности подобной шутки. Полагая, что, возможно, она ослышалась – ведь в ассортименте помидоры не бывали н и к о г д а – деликатно переспросила. И Сеня, все также беззаботно улыбаясь, повторил: «агванья», но уже для верности указал пальцем

на красный, сахарный ломоть арбуза под пленкой. Не столько по причине ограниченного знания иврита, сколько из-за свойственного ему неограниченного кредита доверия он запросто относился и к написанию рекомендаций студентам: «Принесите, что нужно, я подпишу», – и так и делал, не заглядывая в содержание.

Он долго из скромности умалчивал, что пишет стихи, до тех пор, пока не подарил нам по экземпляру своего поэтического сборника. Тонкая книга сиреневого цвета под названием «Летаргия» была полна грустных стихов. Одна строчка запала в память: «Перевернутым "Т" францисканцев...» (про монастырь где-то в Европе). «Я знаю, какие стихи пишу», – говорил Сеня. «Но я ручаюсь, я голову даю, что они – искренние, прямо отсюда!» – и он клал маленькую руку на сердце. Разговор случился на винтовом лестничном пролете, ведущем к русской кафедре, вместе с нами стоял Миша Д., которого он попросил: «Вы почитайте и скажите мне честно, какие понравились». ...Мы так никогда и не сказали ему, что один из наших приятелей случайно обнаружил целую картонную коробку с нераспроданной частью тиража этих его книг в заброшенном здании университетского общежития Асбестоны.

И хотя в стихах его было много возвышенно-неземного, сам С.М. был практичным жизнелюбом. Рассказывал, что самые красивые в мире женщины – польки. Вернувшись из годового академического отпуска в Римском университете, изменил мнение в пользу итальянок. Он признавался в любви к Италии, рассказывал, как ежедневно нагуливал по десять километров, давая глазам отдыхать на античных и средневековых фасадах после данных им лекций и долгих часов сидения в библиотеке перед компьютером. Мы посещали его в кабинете, где он снова курил тонкие белоснежные сигареты и смеялся, что во всем Риме для съема квартиры самое подходящее место ему нашлось в доме около площади с базиликой Санта Сабина, где находится черный «камень дьявола». Заверил, что теперь с конгрессами покончено года на три и что он планирует писать большую книгу по древнерусским летописям, материалы для которой привез из архива Ватикана... Я также помню, что в другой раз он срочно покинул Италию, как только в Израиле началась «Вторая интифада». Мы случайно столкнулись через несколько недель после начала палестинских беспорядков: С.М. выглядел понурым. «Не мог быть там, когда здесь война», – пожаловался он. «Купил билеты домой и вернулся».

Еще поражала его мгновенная адаптация к техническим новшествам – едва ли не первым во всем гуманитарном факультете в первой половине 1990-х он приобщился к переносному компьютеру-книжке и самостоятельно верстал сборники статей, издававшиеся под эгидой кафедры. Он обожал съемки на видеокамеру («Невооруженным глазом, знаете, в соборе не все видно, а приблизишь в объективе и та-а-а-кое открывается!»). Знал С.М. толк не только в Риме, но и в ставшем для него родным Иерусалиме, по которому он сопровождал многочисленных гостей. Охотно рассказывал байку, как однажды проводил экскурсию для приехавшего с визитом С. С. Аверинцева. Завидев храм Гроба Господня, Аверинцев вдруг упал на колени и стал плакать. «И мне», – говорил, нагнетая пафос, Сеня, – «было неудобно поднимать его – это светило филологии, энциклопедическую умницу, знатока античного мира – напоминанием, что место распятия совсем не здесь, да и храм со времен крестоносцев раз десять переносился и перестраивался...»). В другой раз в Иерусалим приехал Евгений Рейн, и С.М. отправил нас с ныне живущим в Японии Ильей Б. показывать город московскому поэту, вручив каждому по десять шекелей на автобус и развлечения. Возможности провести день с Евгением Борисовичем мы сначала обрадовались, но недооценили кипучей энергии гостя,

включившего и без остановки игравшего для нас всю дорогу свои знаменитые истории-пластинки.

Как-то на свой день рождения, совпавший с его лекцией, С.М. позвал нас в кафе, расположенное в тенистом дворике неподалеку от Форума (античное название центрального пятачка на кампусе Хар-Хацофим Еврейского университета). Мы попытались возразить, что это *наш* долг пригласить его выпить по такому поводу, на что он парировал: «Дети мои, в моем возрасте приходишь к мысли, что доставлять приятность другим – это самая большая радость для себя, поэтому позвольте мне себя ей наградить!». Из других изречений С.М., которые мне запомнились: «Уже много лет подряд я встаю в 6-7 утра и работаю. Это мое железное правило, какая бы пьянка ни была накануне. Я рано утром сажусь за стол и занимаюсь». Или такое: «Почему я редко публикуюсь: когда это делаешь редко и метко, каждый твой писк будут ждать, как сенсацию. Двумя хорошими статьями в престижных журналах можно сделать себе репутацию, а десятью торопливо набросанными – убить ее».



С. М. Шварцбанд с Е. Г. Эткиндо́м, ок. нач. 1990-х. Предоставлена автору С. М. Шварцбандом для публикации интервью с ним в студенческом журнале "Наш Скопус"

Весной 2001 года, незадолго до переезда в Америку, я зашел в кабинет С.М., когда тот занимался генеральной уборкой, стремясь выторговать побольше света в пространстве, заваленном книгами: вследствие великого замысла архитектора треугольные кабинеты преподавателей на горе Скопус снабжены очень узкими окнами, а сами здания кампуса построены в виде бетонных полушарий гигантского размера, так что из космоса весь комплекс, наверное, походит на чудовищный улей. С.М. как-то посвежел после Третьего Славистского конгресса, и теперь совершал деятельные, но малоэффективные комбинации

с перестановкой томов. На звук нашей беседы постучался Роман Давыдович Тименчик, чей кабинет располагался напротив.

– Левинг тут? – Роман Давыдович держал в руках какую-то книгу, которая, как уже издали можно было понять по корешку, была намного старше меня.

– Юр, а вот это вам!

– Набоков, неужели? – вставил С.М.

– А сейчас мы это узнаем, – успокоил Роман Давыдович со свойственной ему способностью нагнетать интригу.

Издание оказалось мемуарами Константина Дмитриевича Набокова «Испытания дипломата», увидевшими свет в 1921 г. в Стокгольме. Не успел я поблагодарить за столь щедрый подарок, как притворно обиженным голосом С.М. заявил:

– Что же это, профессор Тименчик может делать студентам подарки, а мне нельзя? У тебя есть роненовский «Мандельштам»?

О, горе моему кошельку! Как раз за неделю до этого я решился, наконец, сдать библиотечный экземпляр, чтобы купить на складе издательства Магнес Пресс за 70 шекелей собственный экземпляр вместо редкой книги, пару лет томившейся у меня дома на временных правах.

– Тогда возьми *Slavica Hierosolymitana*, номер пятый! – не унимался С.М.

– Берите скорей, пока не передумал, – посоветовал Роман Давыдович, не без любопытства наблюдавший за разворачивающейся сценой.

Но С.М. уже вошел в раж и вручил мне еще одну библиографическую редкость: «Славику» номер три в бирюзовой обложке. Я был счастлив, но, главное, что не менее довольным выглядел теперь Шварцбанд.

В одну из наших последних встреч (в самом начале 2000-х) я обнаружил, что он перешел на курительный табак и завел себе стильную трубочку из вишневого дерева.

– Самуил Моисеевич, а разве это не вреднее сигарет? – поинтересовался я с удивлением.

– Может быть и вреднее, но зато курю я меньше – пока зажжешь, пока раскуришь, уже сюжет вокруг процесса завязался; а там сделаешь одну затяжку, да воздуха в легкие вдохнешь побольше, чтоб подышать, – вот и покурил.

Произнеся все это с видимым удовольствием, он продолжил поиск какой-то книги к лекции, отложив зажжённый инструмент на этажерку (ею служил железный сейф-монстр для хранения бумаг – неременный атрибут в каждом профессорском кабинете тех лет).

– Не тушите?

– Нет, – как всегда с абсолютной беззаботностью отмахнулся С.М. – Я ее, тепленькую, иногда даже в карман пиджака так кладу на время занятий.

– Только не сгорите, пожалуйста!

– Ай, – махнул рукой С.М., отчаявшись найти искомую книжку, но вдруг расплылся в улыбке. – Все книги, о которых рассказываешь, должны быть здесь! – и приставил указательный палец к голове.

На столе я зацепил взглядом странные диаграммы – карандашные рисунки, похожие на детские. Оказалось, что С.М. рассказывал на уроке о дворянской геральдике и в качестве домашнего задания попросил каждого студента придумать собственный герб. (Это напомнило мне о другом задании, которое он задал в 1994 г. вскоре после убийства израильского премьер-министра Ицхака Рабина как упражнение по стилистике: написать

как можно более убедительное письмо от имени убийцы Игаля Амира своей жертве с объяснением мотивов, и затем придумать воображаемый ответ.)

С.М. всегда охотно консультировал как при выборе научных тем, так и в практике академического письма, особенно, когда речь шла о сложной композиционной структуре и развертыванию тезиса (прямо на глазах он ловко перекроил черновик моей громоздкой статьи о статуях у Пушкина и Бродского, ряд абзацев вычеркнув, другие переставив). Перед моей поездкой в Петербург советовал поискать в архивах дневники и тайные донесения русского посланника в Палестине и Сирии К. М. Базили, в 1848 году сопровождавшего в ближневосточной поездке Гоголя (увы, у меня руки не дошли, и через несколько лет их достойно опубликовали отдельным изданием); он же убеждал изучить художественную прозу В. Жаботинского в свете описаний его ранних посещений Палестины, а также углубиться в русские материалы из корреспонденции в собрании Дома Жаботинского в Тель-Авиве (последнее мне осуществить отчасти удалось). Выше я бегло затронул тему щедрых подарков учителей, главные из которых, конечно, не имели материального измерения; не могу, тем не менее, не вспомнить в завершение еще один эпизод, когда, утопив червячок окурка в металлической пепельнице, С.М. прошелся своей пружинистой походкой к книжной полке: «А вот это у тебя есть?». У меня замерло сердце: Сеня протянул руку к набоковской «Аде» – толстому фолианту, прижизненному изданию 1969 года. Я, естественно, был крайне тронут, но попытался отказаться. Не взирая на протест, он настоял («То, что сам читаю – я тебе все равно не подарю. Есть еще два вида книг – с дорогими автографами и те, которые уже сослужили службу. Вот этого Сент-Бёва, к примеру, я купил на университетской распродаже, и он помог мне сделать одно открытие в "Выстреле"»). Ушел я в тот день от С.М. не только с «Адой», но еще и с двумя томами английских комментариев Соломона Голдмана к Ветхому завету. Недавно мне довелось записать интервью с последним редактором Набокова, Фредом Хиллсом, полвека тому назад курировавшим это самое издание «Ады» в издательстве МакГроу-Хилл. Книга сослужила службу – и, значит, можно передарить ее читателю следующего поколения. Смею надеяться, что профессор Самуил Шварцбанд этот жест оценил бы.